[РИНА МАНОВА]



Белые Ключи

Она поклялась его ненавидеть.
Он отнял у неё всё – кроме сердца.

18+

Рина Манова

Белые ключи

«Автор»
2026

Манова Р.

Белые ключи / Р. Манова — «Автор», 2026

1836 год. Лиза Бельская стреляет по бутылкам на заднем дворе разорённого имения, когда в ворота въезжает человек, которого она поклялась ненавидеть до смерти. Глеб Зарецкий — наследник кредитора, разорившего её семью. Он приехал забрать Белые Ключи: дом, землю и последнее, что у неё осталось.Уехать некуда, отступать Лиза не умеет. И им приходится жить под одной крышей — в доме, где каждая дверь скрипит от старых обид, а каждый взгляд опаснее пистолета. Он холоден, насмешлив и слишком хорошо знает, чего она стоит. Она горда, упряма и готова на всё, лишь бы не просить.Но за долгами Бельских скрывается чужая тайна, а за спиной Лизы стоит блестящий жених, которому отец когда-то дал слово. Когда Глеба обвинят в убийстве, ей придётся выбирать: спасти собственное имя — или человека, который отнял у неё всё, кроме сердца.Балы и гостиные Петербурга, карточные долги, дуэльные пистолеты и любовь, которая начинается с выстрела.

© Манова Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Наследник 6
Глава вторая. Под одной крышей 12
Глава третья. Гроза 17
Глава четвёртая. Шкатулка 22
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Рина Манова
Белые ключи

Глава первая. Наследник

В мае тысяча восемьсот тридцать шестого года сирень в Белых Ключах распустилась так рано и так буйно, будто знала, что цветёт здесь в последний раз для прежних хозяев.

Елизавета Павловна Бельская стояла в конце липовой аллеи, у старой беседки, и целилась в бутылку. Бутылка была из-под отцовской мадеры, зелёная, пыльная, водружённая на перила беседки рукою брата. Пистолет был тоже отцовский — длинный, с потемневшей серебряной насечкой, тяжёлый для женской руки. Лиза держала его ровно, не дыша, и думала не о бутылке.

Она думала о том, что через три дня, через неделю, через месяц — когда угодно — по этой аллее приедет чужой человек и скажет, что всё это теперь его. И липы, и пруд, и белый дом с колоннами, облупившимися в позапрошлую зиму, и конюшня с Зарницей, и даже эта пыльная бутылка.

Выстрел ударил по ушам, с лип посыпались воробьи. Бутылка разлетелась зелёными брызгами.

— Браво! — закричал Митя, выскакивая из-за беседки. — Лизавета, ты бьёшь лучше, чем покойный батюшка! Ей-богу, если этот Зарецкий явится, ты его…

— Не смей, — сказала Лиза, опуская пистолет. — Не смей шутить об этом.

Мите было семнадцать лет. Он был долговяз, светловолос, с ещё детским румянцем, который приводил его в отчаяние, и с той беспечностью, которая даётся только юности да глупости. Он верил, что всё как-нибудь устроится. Лиза не верила ни во что, кроме того, что держала в руке.

Отец умер в феврале. Умер не от болезни — от бумаги. Бумага пришла из Твери, из уездного суда, с орлом и печатью, и в ней было сказано, что по векселям, данным Павлом Андреевичем Бельским отставному полковнику Андрею Петровичу Зарецкому, долг составляет восемьдесят тысяч рублей ассигнациями, что долг сей законным порядком признан и что имение Белые Ключи с деревнями Зыбково и Ряженка, с тремястами двадцатью душами мужеского пола, поступает в погашение оного. Отец прочёл бумагу за обедом. Положил её возле тарелки. Сказал тихо: «Это неправда, Лизанька. Я никогда…» — и не договорил. К вечеру у него отнялась правая сторона, а через два дня его не стало.

Он так и не договорил. И эта недоговорённая фраза жила в Лизе, как заноза.

В марте пришло известие, что и сам полковник Зарецкий скончался в Петербурге — от удара ли, от вина ли, никто толком не знал. Лиза, услышав, не перекрестилась. Нянька Матрёна покачала головой: «Грех, барышня». Лиза ответила: «Пусть». А потом выяснилось, что у полковника есть сын, единственный наследник, и что сын этот, ротмистр в отставке Глеб Андреевич Зарецкий, намерен вступить во владение.

— Перезаряди, — сказала Лиза брату.

— Ещё? У нас пороху на два раза осталось.

— Тем более.

Митя пожал плечами и полез в ящик за пороховницей. Лиза отошла к перилам беседки и смотрела на пруд. Вода была неподвижна, только у мостков, где бабы полоскали бельё, расходились круги. Дальше, за прудом, за ржаным полем, шла дорога на Тверь, обсаженная берёзами. По этой дороге три года назад увезли в последний путь маменьку. По этой дороге в феврале везли отца. И по ней же…

— Лизавета, — вдруг сказал Митя странным голосом. — Посмотри.

По дороге, между берёзами, двигалось облачко пыли. Потом из пыли вынырнула коляска, за ней — всадник на высоком гнедом коне. Коляска свернула к усадьбе, всадник обогнал её и пошёл по аллее рысью — прямо к ним.

Лиза не думала. Она взяла из рук брата только что заряженный пистолет и вышла из беседки на середину аллеи.

— Лиза! — ахнул Митя. — Ты что?!

Всадник приближался. Он сидел в седле так, как сидят люди, полжизни проведшие верхом: свободно, чуть откинувшись, не глядя под ноги коню. На нём был тёмно-синий дорожный сюртук, фуражка без кокарды; лица под козырьком было не разглядеть. Шагах в двадцати он увидел её — и пистолет — и придержал коня. Конь пошёл шагом. Потом остановился.

— Добрый день, — сказал всадник. Голос был низкий, спокойный, чуть насмешливый. — Если вы собираетесь меня застрелить, сударыня, я бы попросил сначала узнать моё имя. Неловко будет, если окажется, что вы застрелили не того.

— Я знаю ваше имя, — сказала Лиза. Голос её не дрогнул, и она гордилась этим. — Вы Зарецкий.

— Глеб Андреевич Зарецкий. К вашим услугам. — Он снял фуражку и слегка наклонил голову. Теперь она увидела его лицо: смуглое, резкое, с тяжёлым подбородком и тёмными бровями, одна из которых была рассечена белым шрамом. Глаза были светлые, серые или зелёные, она не могла понять. Они смотрели на неё без страха и без особого интереса — так смотрят на непогоду. — А вы, полагаю, Елизавета Павловна.

— Уезжайте.

— Не могу. Я проделал сто восемьдесят вёрст, и у меня затекла спина.

— Уезжайте, или я выстрелю.

За его спиной подкатила коляска. Из неё выглянул маленький испуганный человечек в мундире губернского регистратора — должно быть, судебный исполнитель. Увидев пистолет, человечек издал звук, похожий на писк, и спрятался обратно.

Зарецкий даже не обернулся.

— Вы не выстрелите, — сказал он.

— Почему вы так думаете?

— Потому что вы стоите со взведённым курком уже полминуты, а рука у вас начала дрожать. Кто собирается стрелять, тот стреляет сразу. Кто держит паузу, тот хочет, чтобы его уговорили не стрелять. — Он помолчал. — Я не стану уговаривать. Стреляйте, если угодно. Только цельтесь в грудь, а не в голову. В голову вы с такой дрожью промахнётесь и попадёте в лошадь. А лошадь ни в чём не виновата.

Лиза почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо. Рука и правда дрожала — от тяжести, от ярости, от того, что он был прав. Она сжала рукоять крепче.

— Ваш отец убил моего отца, — сказала она.

Что-то мелькнуло в его лице и тут же исчезло.

— Мой отец, — сказал он ровно, — убил многих. Преимущественно себя самого. Но если вы о векселях, то векселя подписаны рукою Павла Андреевича Бельского, засвидетельствованы и признаны судом. Мне жаль, что ваш отец умер. Мне жаль, что вам придётся покинуть этот дом. Но дом теперь мой, и я приехал его осмотреть.

— Он никогда не занимал восемьдесят тысяч! Никогда! Он не играл!

— Все, кто проигрывает, говорят, что не играли. — Зарецкий надел фуражку. — Опустите пистолет, Елизавета Павловна. Вы устали, у вас болит рука, и вы сейчас его уроните, а он заряжен.

Он тронул коня и поехал прямо на неё — шагом, не торопясь, глядя ей в глаза. Лиза стояла. Конь подошёл так близко, что она чувствовала его тёплое дыхание. Тогда Зарецкий наклонился из седла, легко, как будто поднимал платок, взял её запястье — пальцы у него были твёрдые и горячие — и отвёл ствол в сторону. Другой рукой он вынул пистолет из её руки, спустил курок на полувзвод и, перевернув рукоятью вперёд, подал Мите, который стоял рядом с открытым ртом.

— Хорошее оружие, — сказал он Мите. — Лепажевское. Берегите. И не давайте сестре.

Потом выпрямился в седле, кивнул Лизе, как кивают знакомой на гулянье, и поехал к дому.

Лиза стояла посреди аллеи и чувствовала на запястье отпечаток его пальцев, как ожог.

— Я его ненавижу, — сказала она шёпотом.

— Лизавета, — пробормотал Митя, вертя пистолет, — а ведь он… ничего. Держится-то как. Кавалерист, сразу видно. Говорят, он на Кавказе…

— Мне всё равно, что говорят, — сказала Лиза и пошла к дому быстрым шагом, почти бегом, потому что глаза жгло, а плакать при нём она не стала бы ни за что на свете.

В доме уже поднялся переполох. Старый Прохор, дворецкий, служивший ещё деду, стоял в прихожей бледный и строгий, как на похоронах. Дуняша, горничная, металась по лестнице. Нянька Матрёна вышла из девичьей, утирая руки фартуком, и встала посреди залы, загородив дорогу, — маленькая, круглая, сердитая, как наседка.

Зарецкий стоял у окна в зале и смотрел на сад. Судейский чиновник, назвавшийся Пафнутием Ильичом Кислицыным, суетился возле стола, раскладывая бумаги.

Лиза вошла и остановилась на пороге. Она успела оправить волосы и стереть со щеки пороховую копоть, но не успела переодеться: на ней было старое серое платье для прогулок, с обтрёпанным подолом. Ей вдруг стало стыдно этого подола — и тут же стыдно своего стыда.

— Елизавета Павловна, — заговорил Кислицын, кланяясь, — честь имею… Определением Тверского уездного суда… согласно описи… Господин Зарецкий, как законный наследник покойного полковника…

— Я умею читать, — сказала Лиза. — Дайте.

Она взяла бумагу и прочла её всю, до последней строчки, хотя знала её содержание наизусть. Потом положила на стол.

— Когда мы должны уехать?

— Согласно закону, сударыня, по вступлении наследника во владение… то есть, собственно, теперь же… Однако, принимая во внимание…

— Принимая во внимание, — перебил Зарецкий, не оборачиваясь от окна, — что у Елизаветы Павловны несовершеннолетний брат, а дом в Твери, насколько мне известно, продан ещё в прошлом году, я не стану требовать немедленного отъезда.

Лиза посмотрела на его спину.

— Мне не нужна ваша милость.

— Это не милость. — Он обернулся. — Это расчёт. Я не знаю имения. Мне нужно понять, что здесь чего стоит, прежде чем продавать. Ваш управляющий, как мне доложили, сбежал ещё весной и прихватил приходные книги. Значит, кроме вас и вашего дворецкого, никто не знает, где тут что. Вы останетесь до Покрова. За это время я разберусь в делах, найду покупателя, а вы найдёте, куда ехать. В октябре мы распрощаемся и, надеюсь, больше никогда не увидимся.

— Вы хотите продать Белые Ключи?

— А что мне с ними делать? — Он пожал плечами. — Я не помещик. Я не умею сеять рожь и пороть мужиков. Продам, заплачу долги отца — их у него, поверьте, хватило бы на три таких имения, — и уеду.

— Куда?

— Это вас не касается.

Лиза помолчала. Она понимала, что должна отказаться, должна гордо выйти, взять брата, няньку, собрать узлы и уехать сегодня же — куда угодно, к тётке в Петербург, в монастырь, к чёрту. Но тётка, княгиня Тумская, не ответила на два письма. Денег было двести сорок рублей. А Митя должен был осенью держать экзамен в университет.

И ещё — главное — она не могла уехать, не узнав, о чём недоговорил отец.

— Хорошо, — сказала она. — До Покрова. Но вы будете жить во флигеле.

Зарецкий поднял рассечённую бровь.

— Во флигеле? В моём собственном доме?

— В доме, где лежит в соседней комнате траурный креп по моему отцу. Где каждая вещь — моя, и моей матери, и моей бабки. Вы получили землю и души. Хорошо. Но пока я здесь, в этом доме вы будете гостем. Нежеланным гостем. Флигель чистый и сухой, там жил гувернёр Мити. Прохор вам постелет.

Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Кислицын замер с пером в руке. Нянька Матрёна перестала дышать.

Потом Зарецкий вдруг усмехнулся — коротко, одним углом рта.

— Флигель так флигель. Но обедать я буду в доме.

— Обедайте где хотите, — сказала Лиза, — только не за моим столом.

— Значит, за моим, — сказал он. — Стол-то описан. Номер сорок седьмой, если не ошибаюсь, Пафнутий Ильич? «Стол обеденный ореховый раздвижной, один».

Кислицын, покраснев, заглянул в опись и пролепетал:

— Сорок шестой-с…

— Тем лучше, — сказал Зарецкий. — Значит, в шесть часов, Елизавета Павловна. За столом номер сорок шесть.

Он поклонился и вышел. Лиза слышала, как стучат по паркету его сапоги, как скрипнула входная дверь, как он что-то сказал Прохору — и Прохор, предатель, ответил: «Слушаю-с, ваше благородие».

Лиза опустилась на стул.

— Матушка-барышня, — зашептала Матрёна, подходя, — да что ж это… да как же… Да ты его, голубушка, не задирай. Он, гляди, лютый. Глаза-то какие — как у волка. Сживёт со свету.

— Не сживёт, — сказала Лиза. — Это я его сживу.

К вечеру приехал Свирский.

Аркадий Сергеевич Свирский был ближайший сосед — его Ольховка лежала в семи верстах, за рекой, — и самый давний друг дома. Он помнил Лизу девочкой с косичками, он возил ей из Москвы конфеты и ноты, он сидел у постели умирающего отца, он хлопотал в суде, писал прошения, ездил к губернатору. Ему было тридцать четыре года. Он был высок, строен, белокур, носил превосходно сшитые фраки и говорил по-французски лучше, чем по-русски. Губернские дамы находили его неотразимым. Губернские мужчины — опасным игроком, но так говорили обо всех, кто выигрывал.

Он вошёл в гостиную, когда Лиза сидела у окна с книгой, которую не читала, и, не дожидаясь доклада, опустился перед ней на одно колено и поцеловал её руку.

— Я примчался, как только узнал. Он здесь? Этот… человек?

— Во флигеле, — сказала Лиза.

— Во флигеле! — Свирский рассмеялся, откинув голову. — Mon Dieu, вы неподражаемы, Lise! Наследник восьмидесяти тысяч — во флигеле! Я расскажу об этом у губернатора, и вся Тверь будет хохотать неделю.

— Не рассказывайте, — сказала Лиза. — Мне не до смеха.

Он сразу стал серьёзен, сел рядом, взял её руки в свои. Руки у него были белые, холёные, с перстнем на мизинце, и всегда немного прохладные.

— Простите меня. Я болван. Вы так храбры, что я забываю, как вам тяжело. — Он понизил голос. — Lise, вы знаете, что я говорил вам зимой. Я повторю. Вам не нужно никуда уезжать. Ольховка невелика, но в ней найдётся место и для вас, и для Мити, и для вашей старой Матрёны. Одно ваше слово…

— Аркадий Сергеевич, — мягко сказала Лиза, высвобождая руки, — полгода не прошло, как умер отец.

— Я подожду. Я ждал пять лет, подожду ещё. — Он улыбнулся. — Но обещайте, что, если этот гусар позволит себе хоть одно дерзкое слово, вы пошлёте за мной.

— Он уже позволил себе с десяток.

— И я не знаю об этом?! — Свирский вскочил. — Где он? Я поговорю с ним…

— Здесь, — сказал от двери низкий голос.

Они обернулись. Зарецкий стоял на пороге, переодетый к обеду в чёрный сюртук, гладко выбритый, с влажными после умывания волосами. В руке он держал часы.

— Шесть часов, — сказал он. — Стол номер сорок шесть накрыт. Добрый вечер, сударь. С кем имею честь?

Мужчины смотрели друг на друга, и Лиза вдруг ясно увидела, как они непохожи: один — светлый, гибкий, весь из улыбок и полутонов; другой — тёмный, тяжёлый, неподвижный, как кремень.

— Свирский, Аркадий Сергеевич, — сказал Свирский, слегка поклонившись. — Сосед и друг этого дома. Друг покойного Павла Андреевича.

— Свирский, — повторил Зарецкий медленно, будто пробуя имя на вкус. — Свирский… Я встречал это имя. В бумагах отца.

Ничто не изменилось в лице Свирского — разве что улыбка стала на волос шире.

— Немудрено. Я имел удовольствие знать вашего батюшку. Мы играли иногда в Английском клубе. Он был… чрезвычайно азартный человек.

— Был, — согласился Зарецкий. — Вы обедаете с нами, Аркадий Сергеевич?

— Если хозяйка позволит.

— Хозяйка, — сказала Лиза, вставая, — позволит. Ей приятно будет видеть за столом хотя бы одного друга.

Она прошла мимо Зарецкого в столовую, не взглянув на него, и почувствовала запах — дорожной пыли, кожи, мыла и ещё чего-то горького, табачного, — и запах этот почему-то разозлил её больше всего остального.

За обедом говорил один Свирский. Он рассказывал о губернских новостях, о новой пьесе в Москве, о том, что государь, говорят, будет на маневрах под Петербургом, о бале, который губернатор задумал дать в июле. Лиза отвечала односложно. Митя ел, поглядывая то на сестру, то на гостя со шрамом. Зарецкий молчал, ел мало, пил ещё меньше, и только раз, когда Свирский заговорил о бале, поднял на Лизу свои светлые глаза и спросил:

— Вы танцуете, Елизавета Павловна?

— Я в трауре, — ответила она.

— Жаль, — сказал он. — Женщина, которая так держит пистолет, должна хорошо вальсировать. Там тоже главное — не дрожать.

Свирский засмеялся, будто это была светская шутка. Митя фыркнул в салфетку. Лиза положила вилку.

— Вы правы, Глеб Андреевич. В вальсе главное — не дрожать. И ещё — выбирать, с кем танцевать. С вами я не пошла бы ни на один тур, даже если бы от этого зависела моя жизнь.

— Запомню, — сказал он спокойно. — Хотя жизнь — странная вещь. Никогда не знаешь, от чего она будет зависеть.

После обеда Свирский уехал, ещё раз поцеловав её руку и шепнув: «Помните — одно слово». Зарецкий ушёл во флигель. Лиза долго стояла на крыльце, глядя, как в окне флигеля зажёгся огонь.

Потом поднялась к себе, заперла дверь на ключ, чего никогда прежде не делала, и, не раздеваясь, легла на постель. Запястье всё ещё помнило его пальцы.

«Я тебя ненавижу, — думала она, глядя в тёмный потолок. — Я узнаю правду. Я верну Белые Ключи. И ты уедешь отсюда так же, как приехал, — с пустыми руками».

За окном, в сиреневой темноте, защёлкал соловей. Огонь во флигеле горел до самого рассвета.

Глава вторая. Под одной крышей

Война началась на следующее утро, и была она тихой, упорной и мелочной, как всякая война, которую ведут под одной крышей.

Зарецкий поднялся с рассветом. Лиза слышала из окна, как он вышел из флигеля, как свистнул конюху, как простучали по двору копыта его гнедого. Она сама не спала — встала, оделась, спустилась в столовую и обнаружила, что Прохор уже подал ему кофе.

— Кто велел? — спросила она.

— Так ведь, барышня… — Прохор развёл руками. — Они спросили. А они, как ни посмотри, хозяин.

— Пока я здесь, хозяйка я, — сказала Лиза. — Кофе — мой. Мой отец покупал его в Москве у Перлова, и я не хочу, чтобы этот человек его пил.

Прохор посмотрел на неё долгим, печальным взглядом старого слуги, который видит больше, чем говорит.

— Воля ваша, барышня. Только они, ей-богу, не похожи на дурного человека. Поутру зашли в людскую, спросили, сколько у нас ртов да чем кормимся. А как узнали, что с Пасхи мужикам муки не выдавали, — потемнели. Прямо, знаете, с лица потемнели.

— Муку не выдавали, потому что Савельев увёз деньги, — сказала Лиза. Савельев был тот самый управляющий, который сбежал в апреле. — И ты знаешь, что я продала маменькины серьги, чтобы купить хоть что-нибудь.

— Знаю, барышня. И они теперь знают. Я сказал.

Лиза хотела рассердиться, но не успела. В окне мелькнул всадник: Зарецкий возвращался со стороны Зыбкова. Рядом с ним, держась за стремя, бежал староста Ерофей, без шапки, и что-то говорил, размахивая руками.

Лиза накинула шаль и вышла на крыльцо.

— …и солому с крыш скормили, батюшка, ей-богу, скормили! — донеслось до неё. — Коровёнок-то всего девять на всю деревню осталось, а ребятишки, ребятишки-то…

Зарецкий соскочил с коня. Лицо у него было хмурое, неподвижное.

— Сколько нужно, чтобы дожить до нового хлеба?

— Да кулей, почитай, полтораста, батюшка… А где ж его взять, коли в амбаре мыши одни? Барышня-голубушка и так последнее отдала…

Зарецкий поднял глаза и увидел Лизу на крыльце. Несколько мгновений он смотрел на неё, и она не могла понять, что у него в лице — насмешка, укор или что-то третье.

— Ступай, Ерофей, — сказал он. — Завтра пошлёшь три подводы в Торжок, к купцу Кондратьеву. Скажешь, от Зарецкого. Он отпустит в долг.

— Батюшка! — Ерофей рухнул на колени, прямо в пыль. — Отец ты наш родной…

— Встань. И не называй меня отцом, я тебе в сыновья гожусь. Ступай.

Ерофей, кланяясь и крестясь, попятился к воротам. Зарецкий отдал повод конюху и пошёл к крыльцу. Лиза не двинулась.

— Кондратьев не отпустит вам в долг, — сказала она. — Отец пытался зимой. Кондратьев сказал, что Бельским больше не верит.

— Я не Бельский.

— Вы его наследник.

— Я сын Андрея Зарецкого, — сказал он, остановившись на ступеньку ниже, так что глаза их оказались вровень. — А Андрею Зарецкому в Торжке не верили бы и под залог Казанского собора. Поэтому вчера, проезжая через Торжок, я оставил Кондратьеву вот это.

Он вынул из кармана жилета часовую цепочку. Часов на ней не было.

— Брегет, — сказал он. — Подарок полкового командира. Стоил полторы тысячи. Кондратьев дал восемьсот и, наверное, считает себя благодетелем.

Лиза молчала. Он смотрел на неё, ожидая чего-то, — может быть, благодарности, может быть, извинения. Она не дала ему ни того, ни другого.

— Вы купили муку моим мужикам, — сказала она наконец, — чтобы они не перемёрли до того, как вы их продадите. Здоровая душа стоит дороже больной. Это расчёт. Вы сами вчера так сказали.

Что-то дрогнуло в его лице — на этот раз она увидела это ясно.

— Вы правы, — сказал он ровно. — Расчёт. Не беспокойтесь, Елизавета Павловна. Я не стану утруждать вас своими добродетелями. Их у меня немного.

Он прошёл мимо неё в дом. Лиза осталась на крыльце, и ей было почему-то так скверно, будто она ударила собаку.

Потом пошли дни.

Зарецкий объезжал поля, считал скот, лазил на чердаки амбаров, спускался в погреба, сидел до ночи над старыми книгами, которые Прохор разыскал в кладовой. Лиза следовала за ним по пятам — не потому, что хотела, а потому, что не могла допустить, чтобы он хозяйничал без присмотра. Она поправляла его, когда он путал межевые столбы. Она язвила, когда он спрашивал, сколько пудов овса идёт на лошадь. Она молча выкладывала перед ним ключи от кладовых и демонстративно забирала их, когда он уходил.

Он отвечал тем же. Он называл её «госпожа хранительница». Он отпускал замечания о том, что в доме, где хозяйка двадцатилетняя барышня, а управляющий вор, неудивительно, что крыша течёт. Он однажды при Прохоре сказал, что флигель кишит клопами и что он подозревает в этом умысел, — и Лиза, вспыхнув, ответила, что клопы, должно быть, приехали с ним из Петербурга.

Хуже всего было то, что Митя его обожал.

На третий день Лиза застала их в саду, на лужайке за беседкой: оба были без сюртуков, в одних рубашках, и бились на рапирах, найденных на чердаке. Митя, раскрасневшийся, всклокоченный, наскакивал, как молодой петух. Зарецкий отступал, почти не шевеля кистью, и рапира Мити то и дело со звоном уходила в пустоту.

— Не маши, — говорил Зарецкий. — Ты не косишь, ты фехтуешь. Укол идёт от руки, а не от плеча. Вот так.

Его клинок скользнул, коротко, как змеиный язык, и упёрся Мите в грудь.

— Убит, — сказал Зарецкий.

— Чёрт! — Митя засмеялся. — Ещё! Глеб Андреевич, ещё раз!

— Дмитрий, — сказала Лиза.

Они обернулись. Митя опустил рапиру, но улыбка не сходила с его лица.

— Лизавета, ты видела? Он меня за пять минут убил одиннадцать раз! Он говорит, в Тифлисе один грузинский князь…

— Иди в дом, — сказала Лиза. — У тебя латынь.

— Да какая латынь, когда…

— Иди в дом.

Митя посмотрел на неё, потом на Зарецкого. Зарецкий слегка кивнул. И Митя пошёл — послушался кивка, а не сестры. Лиза это увидела, и в груди у неё стало горячо и больно.

Зарецкий поднял с травы сюртук, перекинул через плечо. Рубашка на нём была расстёгнута у ворота, и Лиза, сама не желая, увидела смуглую шею, ключицу и край другого шрама — длинного, неровного, уходившего под ткань. Она отвела глаза.

— Не смейте, — сказала она. — Не смейте приручать моего брата.

— Я его не приручаю. Я учу его держать рапиру. Ему семнадцать, у него нет отца, и он целыми днями слушает, как вы читаете ему мораль. Мальчику нужен кто-то, кто покажет ему, как быть мужчиной.

— И этим «кто-то» будете вы? Сын игрока, который ограбил его семью?

Он посмотрел на неё долго, и она впервые подумала, что глаза у него, пожалуй, всё-таки зелёные — как вода в пруду под липами, тёмная и холодная.

— Вам доставляет удовольствие это повторять, — сказал он. — Хорошо. Повторяйте. Но запомните: я своего отца не выбирал. А вы своего не знали так хорошо, как вам кажется.

— Что вы хотите сказать?

— Ничего. — Он надел сюртук. — Только то, что люди, которые клянутся, что никогда не играли, иногда всё-таки играют. Я видел векселя. Подпись подлинная. Я сличал её с письмами, которые нашёл в кабинете.

— Вы рылись в бумагах моего отца?!

— В моём кабинете, — сказал он, — я читал бумаги, которые теперь принадлежат мне. Простите, если это оскорбляет ваши чувства. Мне тоже, знаете ли, не доставляет удовольствия читать, как ваш батюшка в тридцать первом году писал предводителю, что «Зарецкий — человек без чести и без бога, и если бы я мог, я вызвал бы его». Он ведь хорошо знал моего отца. Почему, вы думаете?

Лиза не знала. Она никогда не слышала, чтобы отец упоминал Зарецкого — до той февральской бумаги.

— Вы лжёте, — сказала она.

— Письмо в правом ящике бюро, — сказал он. — Под счетами за овёс. Прочтите сами.

Он поклонился и ушёл. Лиза стояла на лужайке, сжимая в руках брошенную Митей рапиру, и ей хотелось воткнуть её в какое-нибудь дерево.

Вечером она прочла письмо. Оно было там, где он сказал. Отцовская рука, твёрдая, с завитками, которых она не могла бы спутать ни с чьими. «Зарецкий — человек без чести и без бога». И дата — март тридцать первого года. И ещё строка, ниже, которую Зарецкий не упомянул: «Что же до С., то я дал ему слово и сдержу, хотя это стоило мне дороже, чем он думает».

С.? Кто это — С.?

Лиза сидела в тёмном кабинете над письмом до тех пор, пока не догорела свеча.

Свирский приезжал каждый день.

Он привозил то корзину земляники из своих теплиц, то новый французский роман, то известия из Твери. Он был безупречен с Лизой — нежен, почтителен, весел. С Митей — дружелюбен. С Зарецким — изысканно вежлив, так вежлив, что от этой вежливости стыла кровь.

Однажды, в конце мая, он приехал не один, а с бумагой.

— Глеб Андреевич, — сказал он за чаем на террасе, — я человек прямой и не люблю ходить вокруг да около. Вы намерены продавать Белые Ключи. Я намерен купить.

Зарецкий, сидевший у перил с трубкой, медленно повернул голову.

— Вот как.

— Вот так. Имение граничит с моим. Мне будет удобно. А главное, — он улыбнулся Лизе, и улыбка была тёплой, обещающей, — главное, мне не хотелось бы, чтобы этот дом достался чужим людям. Шестьдесят тысяч. Половину сразу, половину к Рождеству.

Лиза посмотрела на Свирского с изумлением и благодарностью. Шестьдесят тысяч! Он хочет купить Белые Ключи — для неё. Чтобы они остались… чтобы, когда она станет его женой, она вернулась сюда хозяйкой.

Она посмотрела на Зарецкого, ожидая, что тот обрадуется. Покупатель в первую же неделю — разве не этого он хотел?

Зарецкий выпустил дым.

— Щедро, — сказал он. — Особенно для человека, у которого Ольховка заложена в Опекунском совете дважды.

На террасе стало тихо. Митя, тянувшийся за вареньем, замер. Лиза почувствовала, как у неё запылали уши.

Свирский не изменился в лице. Он только поставил чашку на блюдце — очень аккуратно, так, что не звякнуло.

— Вы наводили обо мне справки.

— Я навожу справки обо всех, кто хочет дать мне денег. Это привычка. Я вырос в доме, куда кредиторы приходили чаще, чем гости. — Зарецкий постучал трубкой о перила, выбивая пепел. — Я подумаю над вашим предложением, Аркадий Сергеевич. Но не торопите меня. Я ещё не понял, сколько стоят Белые Ключи. Может быть, больше, чем кажется.

— Может быть, — сказал Свирский. — А может быть, меньше. Имения, знаете ли, иногда горят. Или мужики бунтуют. Или наследники проигрываются в карты, как их отцы. Всякое бывает.

Он встал, поклонился Лизе, поцеловал ей руку.

— Простите меня, Lise. Я не должен был заводить этот разговор при вас. Я уеду, чтобы не портить вам вечер.

— Нет, — сказала Лиза, вставая. — Это я прошу у вас прощения. За то, что в моём доме вас оскорбили. — Она повернулась к Зарецкому, и голос её задрожал от бешенства. — Вы… вы низкий человек. Аркадий Сергеевич — единственный, кто помогал нам, когда умирал отец. Он ездил к губернатору, он платил стряпчим из своего кармана! А вы… вы приехали сюда, как стервятник, и смеете…

— Lise, не надо, — мягко сказал Свирский.

— Надо! — Она топнула ногой, как девочка, и тут же возненавидела себя за это. — Глеб Андреевич, извинитесь.

Зарецкий поднялся с перил. Он был выше Свирского на полголовы, и шире в плечах, и сейчас, в сумерках, на фоне тёмных лип, казался огромным.

— Не стану, — сказал он. — Я сказал правду. Если Аркадий Сергеевич считает себя оскорблённым, он знает, как найти меня. Флигель, вторая дверь направо. Там, правда, клопы.

Они смотрели друг на друга несколько мгновений. Потом Свирский рассмеялся — легко, светски.

— Право, Глеб Андреевич, мы не на Кавказе. Не станем же мы стреляться из-за денег. Это дурной тон. Lise, до завтра.

Он ушёл. Колёса его кабриолета прошуршали по аллее. Митя сидел, вжав голову в плечи. Зарецкий снова набил трубку.

— Вы трус, — сказала Лиза.

— Почему? Я ведь предложил ему стреляться. Он отказался.

— Вы трус, потому что бьёте того, кто не ответит. Аркадий Сергеевич — светский человек, он выше этого.

— Возможно. — Зарецкий чиркнул спичкой. — А возможно, ему просто нужно, чтобы я был жив. Мёртвый я не смогу продать ему имение. Подумайте об этом, Елизавета Павловна, когда будете засыпать. Человек в долгах, у которого нет и тысячи рублей наличными, хочет купить за шестьдесят тысяч то, что вы и так ему принесёте в приданое, если выйдете за него. Зачем ему покупать? Отчего он так торопится?

— Оттого, что любит меня!

— Да, — сказал Зарецкий, глядя на огонёк спички. — Это, конечно, всё объясняет.

Она ушла, хлопнув дверью так, что в гостиной задребезжали подвески на люстре. Но ночью, лёжа без сна, она снова и снова слышала его голос: «Зачем ему покупать? Отчего он так торопится?»

И снова видела отцовскую строку: «Что же до С., то я дал ему слово».

В первых числах июня Свирский сделал ей предложение по всей форме.

Это было в Ольховке, куда он пригласил их с Митей на обед. Дом у него был новый, в итальянском вкусе, с мраморными вазами на крыльце и с оранжереей, где росли апельсины. После обеда он повёл Лизу в оранжерею, и среди апельсиновых деревьев, в душном сладком воздухе, опустился на колено и открыл бархатную коробочку. В коробочке лежало кольцо с сапфиром, синим, как ночное небо.

— Я не прошу ответа сейчас, — сказал он. — Я знаю, ваш траур… Но я хочу, чтобы вы знали: что бы ни случилось с Белыми Ключами, у вас есть дом. У вас есть я. Возьмите кольцо. Не надевайте — просто возьмите. Пусть оно будет у вас, как обещание.

Лиза смотрела на сапфир. Он был очень красив. Свирский был очень красив — светлые волосы, падающие на лоб, нежные голубые глаза, тонкие пальцы, державшие коробочку. Пять лет он был рядом. Он был добр. Он был — правда — единственным, кто помог.

Почему же ей вдруг вспомнились не его голубые глаза, а другие — тёмно-зелёные, холодные, как вода в пруду? И не его нежные пальцы, а чужие — твёрдые, горячие, на её запястье?

— Аркадий Сергеевич, — сказала она, — дайте мне время до Покрова. Когда решится судьба Белых Ключей, решится и моя.

Он улыбнулся, закрыл коробочку и вложил её в ладонь Лизы, накрыв своими пальцами.

— До Покрова, — сказал он. — Я умею ждать, Lise. Я очень хорошо умею ждать.

Когда они возвращались домой, был тихий вечер, и коляска шла медленно, переваливаясь на колдобинах. Митя дремал. Лиза держала на коленях коробочку и смотрела на закат.

У въезда в аллею их ждал всадник. Зарецкий сидел на своём гнедом неподвижно, как изваяние, и смотрел на коробочку в её руках.

— Поздравляю, — сказал он, когда коляска поравнялась с ним.

— С чем? — спросила Лиза холодно.

— С тем, что вы получили, что хотели. Красивое кольцо. Свирский, я слышал, купил его в Москве у ювелира на Кузнецком в кредит. Надеюсь, хоть по этому векселю он заплатит.

Он тронул коня и поехал прочь, к полям, в закат, не оглядываясь. Лиза смотрела ему вслед, сжимая бархатную коробочку так, что заболели пальцы.

«Ненавижу», — сказала она себе.

Но слово впервые прозвучало как-то неубедительно.

Глава третья. Гроза

В середине июня в Белые Ключи приехал барышник.

Его звали Мокей Гаврилыч, он был толст, рыж, в синей поддёвке и сапогах бутылками, и от него за версту пахло дёгтем и водкой. Он ходил по конюшне, хлопал лошадей по крупам, заглядывал им в зубы и цокал языком. Зарецкий шёл рядом, заложив руки за спину, и слушал.

Лиза узнала о его приезде от Дуняши — та прибежала в девичью с круглыми глазами: «Барышня! Конский торговец! Всех, говорят, продадут, всех до единой!» Лиза бросила шитьё и побежала на конюшню.

Она успела услышать последние слова:

— …а за серую кобылку, ваше благородие, дам триста. Кровей хороших, хоть и мелковата. Под дамское седло — в самый раз. В Москве у меня на неё купец есть, для дочки.

Серая кобылка была Зарница.

Отец купил её четыре года назад жеребёнком, на ярмарке в Торжке, и подарил Лизе на шестнадцатилетие. Лиза сама её выкормила из рожка, когда мать-кобыла пала. Сама объезжала. Зарница ходила за ней по саду, как собака, брала сахар с губ и ржала, заслышав её шаги за стеной конюшни. Это была последняя отцовская вещь, которую Лиза любила не как память, а как живое.

— Нет, — сказала Лиза с порога.

Мокей Гаврилыч обернулся и снял картуз.

— Барышня, наше почтение…

— Нет, — повторила Лиза, глядя на Зарецкого. — Зарницу вы не продадите.

Зарецкий посмотрел на неё через плечо.

— Мокей Гаврилыч, — сказал он, не отводя глаз от Лизы, — подождите меня на дворе.

Барышник, кланяясь, вышел. В конюшне было полутемно, пахло сеном и лошадиным потом, сквозь щели в досках падали пыльные солнечные полосы. Лошади переступали в стойлах. Зарница, узнав Лизу, тихо заржала и потянулась к ней мордой через загородку.

— Вы её не продадите, — сказала Лиза в третий раз. Голос у неё сорвался.

— Отчего же? — спросил Зарецкий. — Это лошадь. Она внесена в опись. Номер двести восемнадцатый, если хотите знать.

— Это моя лошадь!

— По бумагам — моя.

— Плевать мне на ваши бумаги!

Она сказала это громко, на всю конюшню, и сама испугалась. Барышни так не говорят. Но она уже не могла остановиться.

— Вам мало дома? Мало земли, мужиков, моей мебели, моих книг? Вам нужно и это? Хорошо. Продавайте! Только знайте: если вы продадите Зарницу, я… я…

— Что — вы?

Она не знала. Она стояла перед ним, задыхаясь, и чувствовала, что сейчас расплачется, и это было бы хуже смерти.

— Я вас убью, — сказала она тихо.

Он смерил её взглядом. Потом сказал:

— Вы уже грозились. В первый день. И не выстрелили. — Он повернулся к выходу. — Мокей Гаврилыч приедет за лошадьми в субботу. Подготовьте её, Елизавета Павловна. Почистите. Пусть уйдёт красивой.

Он вышел. Лиза прижалась лбом к тёплой шее Зарницы и стояла так, пока не перестали дрожать плечи.

В пятницу, перед рассветом, она оседлала Зарницу сама.

План был простой и, как все простые планы, безумный. В девяти верстах, за Ряженкой, на речке Тьмаке стояла старая водяная мельница. Мельник умер прошлой зимой, мельница стояла без дела, но там жила его вдова Акулина, которая когда-то была Лизиной кормилицей. Акулина спрячет кобылу. Барышник приедет, Зарницы не будет. Зарецкий будет в бешенстве — что ж, пусть. Он не посмеет обыскивать окрестности ради трёхсот рублей. А в октябре, когда Лиза уедет, Зарница уедет с ней.

Она не думала о том, куда уедет в октябре. Она не думала о том, что за кражу описанного имущества можно попасть под суд. Она думала только о том, что Зарницу не уведёт рыжий барышник в поддёвке.

Утро было душным, неподвижным. Солнце встало красное, в мутной пелене. Ласточки носились над самой травой. Лиза гнала кобылу полями, задами, мимо Ряженки, где уже скрипели колодезные журавли, и через два часа увидела внизу, в овраге, речку, плотину и тёмный горб мельницы.

Акулина ахнула, всплеснула руками, заплакала, обняла её, а когда поняла, в чём дело, перестала плакать и сделалась строгой.

— Ох, Лизавета Павловна, ох, ласточка, не к добру ты это затеяла. Новый-то барин, сказывают, крутой. Найдёт — и тебе беда, и мне.

— Не найдёт. Никто не знает, куда я поехала.

— Он узнает, — сказал от двери низкий голос.

Лиза обернулась так резко, что чуть не упала.

Зарецкий стоял в дверях Акулининой избы, пригнув голову под низкой притолокой. Он был без фуражки, в одной рубахе и жилете; волосы его прилипли ко лбу от пота, сапоги были в росе и в пыли. За его спиной во дворе фыркал гнедой, весь в мыле.

— Как вы… — выдохнула Лиза.

— Вы не умеете заметать следы. Вас видели в Ряженке. Пастух, две бабы у колодца и мальчишка на заборе. Мальчишка, кстати, сказал, что барышня скакала «как бешеная». Я дал ему гривенник.

Акулина, крестясь, попятилась в угол.

— Батюшка барин, не губи… Это я, старая дура, надоумила…

— Неправда, — сказала Лиза. — Она ничего не знала. Это я. Только я.

— Я знаю, — сказал Зарецкий. — Выйдите со мной, Елизавета Павловна. Мне нужно с вами поговорить.

Она вышла. Не потому, что он велел, а потому, что не хотела ссориться при Акулине.

На дворе было странно тихо. Даже куры перестали квохтать. Небо на западе, над лесом, стало тёмно-лиловым, почти чёрным, и в этой черноте беззвучно вспыхивали бледные зарницы. Воздух стоял, как вода в кадушке.

— Сейчас ударит, — сказал Зарецкий, глянув на небо. — Нужно укрыться. Изба мала, а лошадей деть некуда. Мельница большая. Идёмте.

— Я не пойду с вами никуда.

— Тогда стойте здесь и мокните. — Он взял под уздцы обеих лошадей и повёл их к мельнице.

Первая капля упала Лизе на лоб, тяжёлая и тёплая, как слеза. Потом вторая. Потом небо раскололось пополам, ослепительный белый столб ударил в лес за рекой, и грохот обрушился на неё так, что она присела. И тут же хлынуло — не дождь, а стена воды, сразу, без перехода.

Зарница, которую Зарецкий как раз вводил в ворота мельницы, взвилась на дыбы, вырвала повод и рванулась назад, во двор, прямо на Лизу.

Лиза не успела испугаться. Она увидела над собой серое брюхо, взметнувшиеся копыта, белые от ужаса глаза кобылы — и вдруг кто-то сбил её с ног, швырнул в сторону, накрыл

собой. Копыта ударили в землю совсем рядом, брызнула грязь. Зарница, всхрапывая, пронеслась мимо и остановилась у плетня, дрожа всем телом.

Лиза лежала в грязи. На ней лежал Зарецкий. Дождь хлестал по его спине.

— Целы? — спросил он ей прямо в лицо. С его волос текла вода и капала ей на щёки.

— Да… кажется…

Он рывком поднялся, поднял её — как куклу, одним движением, за локти, — и потащил к мельнице. Потом вернулся под ливень за Зарницей. Лиза видела в проёме ворот, как он подходит к кобыле — медленно, вытянув руку, что-то говоря, — как Зарница прижимает уши, а потом опускает голову и даёт себя взять. Он привёл её, мокрую, дрожащую, поставил рядом с гнедым у дальней стены, где был сложен старый, пахнущий пылью мешочный хлам, и только тогда вернулся к Лизе.

Внутри мельницы было темно и гулко. Дождь ревел по крыше. Где-то вверху сквозь прохудившиеся доски текли струи и разбивались о жернова. Пахло мукой, сырым деревом и тиной от речки. При каждой вспышке молнии из темноты выступали огромные колёса, балки, ковши, лестницы, уходящие во мрак, — и снова пропадали.

Лиза стояла посреди мельницы, мокрая до нитки, и её колотила дрожь. Платье облепило её, как вторая кожа; волосы рассыпались по плечам и висели мокрыми прядями. Шляпка осталась где-то во дворе, в грязи.

Зарецкий снял жилет, выжал его, бросил на жернов. Пошарил в углу, нашёл охапку сухой соломы, какие-то щепки, обломки старого лотка. Вынул из кармана огниво — у него, как у всякого военного, было огниво, — и через минуту на каменном полу, в стороне от мешков, затрещал маленький костёр.

— Идите к огню, — сказал он.

Лиза подошла. Ей было слишком холодно, чтобы спорить. Она протянула к огню руки, и руки дрожали.

Он сел по другую сторону костра, на перевёрнутую кадушку. Рубашка на нём тоже была мокрая насквозь и прилипла к телу, и Лиза снова, как тогда на лужайке, увидела под тонким полотном тот длинный неровный шрам — от плеча через грудь, наискосок. Теперь она видела его весь. Он был страшный.

Она подняла глаза и встретила его взгляд. Он заметил, куда она смотрит.

— Шашка, — сказал он. — Чеченская. Под Гергебилем, в тридцать первом. Я был тогда моложе вашего брата на два года. Корнет, восемнадцать лет, первое дело.

— Больно было?

Он усмехнулся.

— Не помню. Помню, что было очень смешно. Я лежал на камнях и думал: вот отец обрадуется, если меня убьют. Не придётся платить за обмундирование.

Дождь гремел по крыше.

— Почему вы так говорите об отце?

— А как мне о нём говорить? — Он подбросил в огонь щепку. — Мой отец проиграл в карты сначала своё имение, потом приданое моей матери, потом её бриллианты, потом её доброе имя — однажды, когда денег не было совсем, он поставил на кон её письма, и выиграл, и показывал их в клубе. Мать умерла, когда мне было двенадцать, в чужой квартире на Песках, где ей нечем было платить за дрова. Отец в ту ночь был в клубе. Он приехал на похороны пьяный. — Голос его был совершенно ровный, как будто он рассказывал о погоде. — Меня взял на казённый кошт в кадетский корпус какой-то дальний родственник матери. Потом полк, потом Кавказ. Отца я видел за эти годы раз пять. Последний — за неделю до его смерти, в Петербурге. Он сказал мне: «Глеб, у меня есть для тебя наследство. Бельские векселя. Это всё, что у меня осталось, но это золото». И засмеялся. Он всегда смеялся, когда говорил о деньгах.

Лиза смотрела на огонь. Ей было странно и страшно: она привыкла думать о Зарецком-старом как о чудовище, и вот теперь сын говорил о нём то же самое, только хуже, и от этого чудовище становилось почему-то не страшнее, а жалче.

— Зачем же вы приняли такое наследство? — спросила она. — Если так его ненавидели?

— Потому что за ним остались долги. Двадцать три тысячи. Кредиторы пришли ко мне на следующий день после похорон. Портной, ростовщик, какой-то полковник, которому он проиграл на слово, вдова, у которой он занимал… Я мог отказаться от наследства. Тогда они не получили бы ничего. — Он пожал плечами. — Я подумал, что это было бы похоже на отца. А мне не хотелось быть на него похожим ни в чём.

— И вы решили, что лучше разорить чужую семью.

Он поднял глаза. Огонь отражался в них, и они казались совсем не холодными.

— Я решил, что суд прав. Я видел подписи. Я не знал вашего отца, Елизавета Павловна. Я знал только, что он должен моему отцу. Откуда мне было знать, что за этим стоит?

— А теперь? Теперь знаете?

Он долго молчал.

— Теперь — не знаю, — сказал он наконец. — И это хуже.

Молния ударила совсем близко. Мельница содрогнулась, гнедой всхрапнул в своём углу. Лиза невольно вскрикнула и вскочила. Зарецкий тоже вскочил. Они оказались совсем рядом — через догорающий костёр, через полшага.

Она видела капли воды на его ресницах. Видела, как бьётся жилка на смуглой шее. Видела белый шрам, рассекающий бровь. И его глаза — тёмно-зелёные, почти чёрные сейчас, — смотрели на неё так, как не смотрел никто. Ни Свирский с его нежностью, ни юнкера на губернских балах, ни один человек на свете. Как будто она была не барышня Бельская в мокром платье, а что-то, чего он не понимал и не мог отпустить.

— Вы дрожите, — сказал он тихо.

— Мне холодно.

— Нет. Не поэтому.

Он поднял руку и отвёл от её лица мокрую прядь. Пальцы его коснулись её щеки — едва-едва, — и Лизу будто прошило той самой молнией. Она не отстранилась. Она не могла пошевелиться. Он наклонил голову, медленно, давая ей время, — она чувствовала его дыхание на губах, тёплое, пахнущее табаком и дождём, — ещё мгновение, и…

Она ударила его по лицу.

Звук пощёчины прозвучал в гулкой мельнице, как выстрел. Даже дождь, кажется, на миг притих.

Зарецкий не отшатнулся. Он стоял, чуть повернув голову, и на его смуглой щеке медленно проступал красный след её ладони.

— Как вы смеете, — прошептала Лиза. Её трясло теперь по-настоящему. — Как вы смеете… Вы… Вы отняли у меня всё. Дом, землю, отца… Теперь вы хотите ещё и… Я обручена!

— Вы не обручены, — сказал он спокойно. — У вас в шкатулке лежит кольцо, которое вы не надели. Это разные вещи.

— Я его надену! Завтра же!

— Надевайте. — Он отступил на шаг, потом ещё на шаг. Лицо его снова стало неподвижным, как камень. — Простите меня, Елизавета Павловна. Я забылся. Это больше не повторится.

Он отвернулся, подошёл к воротам мельницы и встал в проёме, спиной к ней, глядя на дождь. Плечи его были напряжены, как перед ударом.

Лиза опустилась на мешок у огня и закрыла лицо руками. Ладонь горела. Губы горели — хотя он так и не коснулся их. И самое страшное, самое постыдное было то, что она ударила его не за то, что он хотел её поцеловать. А за то, что ей этого хотелось.

Гроза кончилась так же внезапно, как началась. Через час небо очистилось, умытое солнце засверкало в каждой луже, в каждой капле на листьях ивняка, и река под плотиной ревела, мутная и вспухшая. Пахло мокрой землёй, мятой и свежестью.

Зарецкий вывел лошадей. Молча оседлал Зарницу, проверил подпругу. Подвёл кобылу к Лизе.

— Садитесь. Я подсажу.

— Я сама.

— Седло мокрое, скользкое, а вы в юбках. Сорвётесь — сломаете шею, и меня обвинят ещё и в этом. — Он сложил руки ступенькой. — Садитесь.

Она села. Он подал ей повод и, отступив, посмотрел снизу вверх — непроницаемо, спокойно.

— Езжайте домой, Елизавета Павловна. Шагом. Дорога размокла.

— А… Зарница? — спросила она, не глядя на него. — Барышник приедет завтра.

— Барышник приедет за шестью рабочими меринами и двумя жеребцами-трёхлетками, — сказал Зарецкий. — Зарница в опись не входит.

Лиза уставилась на него.

— Но вы же сказали… номер двести восемнадцать…

— Номер двести восемнадцать я вычеркнул в первый же вечер. Когда увидел, как она к вам бежит через весь двор. — Он поднял с земли свою фуражку, отряхнул. — Я хотел сказать вам об этом. Но вы так восхитительно грозились меня убить, что я не удержался. Простите и за это. Я, должно быть, всё-таки похож на отца: люблю дурные шутки.

Он сел на гнедого, приподнял фуражку и, не прибавив ни слова, поехал прочь — не к дому, а в другую сторону, вдоль реки, к лесу, откуда ещё тянуло грозовой свежестью.

Лиза смотрела ему вслед, пока он не скрылся за ивняком. Зарница тянулась мордой ему вслед и тихонько ржала.

— Предательница, — шепнула Лиза кобыле и вдруг, неизвестно отчего, заплакала — горько, навзрыд, как не плакала даже над гробом отца.

Дома она достала из шкатулки бархатную коробочку, открыла её, долго смотрела на синий сапфир.

И закрыла снова. Кольцо так и осталось лежать в шкатулке.

Глава четвёртая. Шкатулка

После грозы они перестали разговаривать.

Это было не трудно: Зарецкий уезжал на рассвете и возвращался затемно. Обедал он теперь во флигеле — Прохор носил ему туда судки, вздыхая и укоризненно поглядывая на барышню. Если им случалось встретиться в аллее или на крыльце, он кланялся коротко и учтиво, как чужой, и проходил мимо. Лиза отвечала таким же коротким кивком.

Это было не трудно. Это было невыносимо.

Она ловила себя на том, что прислушивается по утрам к стуку копыт. Что, проходя мимо флигеля, замедляет шаг. Что, когда Митя за ужином рассказывает, как Глеб Андреевич нынче поправил плотину на Тьмаке и велел засыпать мельничный омут, где прошлым летом утонул ребёнок, она слушает, затаив дыхание, а потом говорит холодно: «Меня это не интересует», — и уходит к себе, чтобы до полуночи сидеть у окна, глядя на огонь во флигеле.

Щека его, наверное, давно перестала гореть. А её ладонь всё ещё помнила удар.

В последних числах июня нянька Матрёна затеяла перебирать сундуки.

— Не оставлять же добро чужому человеку, — ворчала она, вытаскивая из кладовой узлы, свёртки и коробки. — Маменькино-то бельё, голландское, да бабушкины кружева… Чай, в опись не вписано, наше. Увезём.

Лиза помогала ей — больше для того, чтобы занять руки, чем из нужды. Они сидели вдвоём в маменькиной комнате, которая стояла запертой с тех пор, как маменьки не стало, и разбирали её вещи: веера, перчатки, ленты, засушенные цветы между страницами молитвенника, детские Лизины рисунки, перевязанные розовой тесьмой.

На дне большого сундука Матрёна нашла шкатулку.

Это была небольшая шкатулка красного дерева, с перламутровой инкрустацией в виде ветки шиповника. Лиза помнила её: она всегда стояла у маменьки на туалетном столике, в ней хранились пуговицы, иголки, какие-то мелочи. После маменькиной смерти шкатулка пропала, и Лиза думала, что её убрали.

— Это ж батюшка ваш покойный её сюда положил, — сказала Матрёна, вертя шкатулку в руках. — Я помню. Прошлой осенью, как раз под Покров. Пришёл сюда один, долго сидел, а потом шкатулку в сундук сунул и запер. Я ещё подумала: чего это барин?

Лиза открыла крышку. Внутри были пуговицы, иголки, клубок шёлка, напёрсток. Больше ничего.

— Пуговицы, — сказала она разочарованно.

— Э, нет, — сказала Матрёна и хитро прищурилась. — Ты, голубушка, не знаешь. А я знаю. У ней дно двойное. Покойница маменька там письма держала, ещё когда в невестах была, — чтобы бабка ваша не нашла. Вот тут нажми, на шиповник, на третий листок.

Лиза нажала. Что-то тихо щёлкнуло, и дно шкатулки приподнялось.

Под ним лежали бумаги. Несколько листков, сложенных вчетверо, и маленькая тетрадь в зелёном сафьяне с золотым обрезом. Лиза узнала эту тетрадь: отец записывал в неё расходы по имению, а иногда — мысли, которые не хотел никому говорить.

Сердце у неё заколотилось так, что стало трудно дышать.

— Матрёна, — сказала она, — оставь меня. Пожалуйста.

Нянька посмотрела на неё внимательно, перекрестила и вышла, притворив дверь.

Первый листок был письмом. Неотправленным, без адреса. Отцовской рукой — но не той твёрдой, с завитками, а торопливой, скачущей.

«Лизанька, если ты читаешь это, значит, меня уже нет, и значит, случилось то, чего я боялся. Прости меня. Я должен был сказать тебе раньше, но мне было стыдно. Стыдно, что твой отец, который учил тебя никогда не брать в руки карт, однажды взял их сам.

Это было в марте тридцать первого года, в Твери, в Дворянском собрании, после выборов. Я выпил лишнего — ты знаешь, я никогда не пью, но в тот вечер праздновали, и меня уговорили. Сели в вист. Потом кто-то предложил банк. Банк метал Зарецкий. Я проиграл восемь тысяч. Восемь, Лиза, не восемьдесят! Восемь тысяч — это было много, но не смертельно. Денег при мне не было, и я дал вексель. Вернее, четыре векселя, по две тысячи каждый, на три года. Свидетелем был С.

В ту же ночь я увидел другое. Я увидел, как С. в соседней комнате, играя с молодым Кромовым, передёрнул карту. Я видел это своими глазами. Я хотел объявить, но С. умолял меня молчать. Он плакал. Он говорил, что если об этом узнают, его выгонят из собрания, из губернии, что его мать, старуха, не переживёт позора. Я знал его мать. Она крестила тебя. И я дал слово молчать.

Векселя я оплатил. Все четыре. Через два года, в тридцать третьем, я отвёз Зарецкому в Петербург восемь тысяч наличными — продал для этого рощу за Ряженкой. Зарецкий принял деньги, но векселей не вернул: сказал, что они у него в Твери, у стряпчего, и что он пришлёт. Я был дурак, Лиза, я поверил на слово. Расписки он мне не дал. Он сказал: мы ведь дворяне, какие между нами расписки.

А прошлой осенью, перед Покровом, я встретил в Твери подьячего Прыткина, Фому Кузьмича, того, что служит в гражданской палате и о котором говорят, что он умеет из любой бумаги сделать любую другую. Он был пьян и сказал мне странную вещь: «Вы, барин, свои векселёчки-то поберегите. Нынче цифирь такая пошла — сама собой растёт». И засмеялся. А через неделю я узнал, что Зарецкий подал в суд.

Я не знаю, что сделали с моими векселями. Но я знаю, что я должен был восемь тысяч и что я их отдал. Если со мной что-нибудь случится — ищи Прыткина. И бойся…»

На этом письмо обрывалось. Последнее слово было зачёркнуто так густо, что прочесть его было невозможно.

Лиза перечитала письмо три раза. Руки у неё тряслись. Восемь тысяч. Восемь, не восемьдесят! Отец не лгал. Отец заплатил.

Второй листок был черновиком векселя. Отец, аккуратный во всём, видимо, переписал для себя текст одного из тех четырёх: «…обязуюсь уплатить отставному полковнику Андрею Петровичу Зарецкому две тысячи рублей ассигнациями…» Две тысячи. Четыре раза по две — восемь.

В тетради, на последних исписанных страницах, были расходы за тридцать третий год. И среди них, между «овёс — 140 р.» и «Лизе на ноты — 12 р.», стояла строка: «Зарецкому в СПб., по векселям, полностью — 8000 р. Роща за Ряженкой продана купцу Лыкову за 8400 р.».

Лиза сидела на полу маменькиной комнаты среди вееров и кружев, прижимая тетрадь к груди, и смеялась, и плакала одновременно.

Потом вскочила и побежала к флигелю.

Он был дома. Сидел за столом у окна, в одной рубашке, с пером в руке, над какими-то счетами. Когда Лиза ворвалась без стука, он поднял голову, и лицо его на миг стало растерянным, совсем молодым. Потом снова закрылось.

— Елизавета Павловна? Что-нибудь случилось?

Она бросила перед ним на стол письмо, черновик и раскрытую тетрадь.

— Читайте.

Он прочёл. Медленно, внимательно, строчку за строчкой. Лиза стояла над ним и смотрела, как меняется его лицо. Сначала оно было спокойным. Потом брови сдвинулись. Потом на скулах выступили желваки. Потом он побледнел — она никогда не думала, что смуглое лицо может так побледнеть, стать серым, как пепел.

Он дочитал. Отложил письмо. Долго сидел, глядя в стол.

— Ну? — сказала Лиза. — Что вы скажете теперь? Что все, кто проигрывает, говорят, что не играли?

Он не ответил. Встал, подошёл к дорожному сундуку в углу, открыл его, вынул кожаный портфель. Из портфеля — четыре плотных листа гербовой бумаги, сшитых шёлковым шнурком и опечатанных судейской печатью.

— Это они, — сказал он глухо. — Подлинники. Суд вернул их мне после решения.

Он разложил листы на столе, рядом с черновиком. Достал из ящика лупу — большую, в медной оправе, какой пользуются землемеры, — и склонился над бумагами.

Лиза тоже склонилась. Их головы почти соприкасались. Она видела знакомую отцовскую руку: «…обязуюсь уплатить отставному полковнику Андрею Петровичу Зарецкому двадцать тысяч рублей ассигнациями…»

— Двадцать, — прошептала она. — Здесь написано «двадцать».

— Смотрите, — сказал Зарецкий.

Он поднёс лупу. Под стеклом слово «двадцать» распалось на части. «Две» — было написано отцовским пером, ровно, с тем самым характерным нажимом на «д». А «-адцать»… буквы были те же по форме, но чуть тоньше, чуть теснее, и чернила — если смотреть очень пристально, при свете из окна, — были на волос светлее, с едва заметным рыжеватым оттенком. Отец писал «две тысячи». Кто-то превратил «две» в «двадцать», вписав остаток слова в узкий промежуток перед «тысяч». А в цифрах внизу, где стояло «20 000», ноль после двойки был чуть меньше остальных и сидел чуть выше строки.

— Двадцать на четыре — восемьдесят, — сказал Зарецкий. — Изящно. Почти незаметно. Если не знать, что искать.

— Вы видите? Вы видите?!

— Вижу.

Он выпрямился. Положил лупу. Отошёл к окну и встал спиной к ней — так же, как тогда, в мельнице, — и Лиза снова увидела, как напряжены его плечи.

— Мой отец был игроком и пьяницей, — сказал он, не оборачиваясь. — Он проиграл мою мать. Он бросил её умирать. Но я никогда… я не думал, что он ещё и фальшивомонетчик.

Голос его был таким, что Лиза вдруг почувствовала — не жалость, нет, она не хотела его жалеть, — но что-то похожее на стыд. Как будто она видела то, что не предназначено для чужих глаз.

— Может быть, — сказала она нерешительно, — может быть, это не он. Этот Прыткин…

— Прыткин — подьячий. Подьячие подделывают то, что им приносят, и за то, что им платят. Кто-то принёс ему векселя. Векселя были у моего отца. — Он обернулся. Лицо его было страшным — не злым, а каким-то опустошённым. — Деньги ваш отец ему отдал, а векселя он не вернул. Почему? Потому что уже тогда знал, что с ними сделает. Он два года ждал, пока истечёт срок, пока ваш отец забудет, пока выйдут все сроки по распискам… Вот почему он смеялся, когда говорил мне о наследстве. Он смеялся над тем, что оставляет мне краденое.

Он подошёл к столу, взял четыре листа гербовой бумаги, сжал их в кулаке.

— Если бы я мог, я бы сжёг их сейчас.

— Не смейте! — Лиза схватила его за руку. — Это доказательство! Без них суд ничего не пересмотрит!

Он посмотрел на её руку на своём запястье. Она сразу отдёрнула её, будто обожглась.

— Вы правы, — сказал он. — Не сожгу. — Он аккуратно разгладил смятые листы и положил их обратно в портфель. — Но этого мало. Подчистку суд может признать, а может и не признать. Скажут: чернила выцвели, рука дрогнула. Нужен Прыткин. Нужно, чтобы он сказал, кто принёс ему векселя и кто заплатил.

— Отец пишет: свидетелем был С.

— Да. — Зарецкий смотрел на неё внимательно. — И отец ваш пишет ещё: «И бойся…» — и вымарывает слово. Чего он боялся, Елизавета Павловна? Или — кого?

Лиза поняла, куда он клонит, и кровь бросилась ей в лицо.

— Нет. Не смейте. Не смейте даже думать об этом.

— Я ещё ничего не сказал.

— Но думаете! Вы думаете, что С. — это Аркадий Сергеевич! Только потому, что он вам неприятен, потому что он хочет купить имение, потому что… — Она запнулась. — В губернии десятки людей на «С». Сабуров, Стрешнев, Сонцов… Старик Сухотин, который всю жизнь просидел за картами в собрании!

— И у кого из них мать крестила вас?

Лиза замолчала. Её крёстной матерью была старая Анна Петровна Свирская, умершая четыре года назад.

— Это ничего не значит, — сказала она наконец, но голос её прозвучал неуверенно. — Отец пишет, что С. передёрнул карту. Хорошо. Пусть даже это был Аркадий… Но передёрнуть карту в молодости и подделать векселя — это разные вещи. Аркадий Сергеевич пять лет был нашим другом. Он сидел у постели отца, когда тот умирал. Он…

— Он сидел у постели умирающего человека, который знал его тайну, — сказал Зарецкий тихо. — Чтобы слышать, что тот скажет перед смертью.

Лиза отшатнулась, как от удара.

— Вы чудовище.

— Возможно. — Он устало потёр лоб. — Я сын чудовища, по крайней мере. Это вы мне только что доказали. Послушайте, Елизавета Павловна. Я не требую, чтобы вы мне верили. Я сам не знаю, кто такой С. Может быть, вы правы, и это старик Сухотин. Но одно я знаю точно: имение это не моё. Мой отец украл его у вашего. Я не стану держать краденое.

Он сказал это просто, без пафоса, как говорят о погоде. И Лиза, которая всё утро, весь месяц, всю весну представляла себе, как она швырнёт ему в лицо доказательства и как он будет изворачиваться, лгать, грозить судом, — Лиза вдруг не знала, что ответить.

— Вы… вернёте Белые Ключи?

— Я не могу их вернуть. Не так просто. Решение суда вступило в силу, имение записано на меня. Если я подарю его вам, это будет дар, а не справедливость, и всякий стряпчий скажет, что я просто влюблён… — Он осёкся. Помолчал. — Что я просто спятил. Кредиторы отца подадут иск, оспорят дарственную, и через год имение пойдёт с молотка. Нет. Нужно, чтобы суд пересмотрел дело. Нужно, чтобы векселя признали подложными. Тогда долг отпадёт, имение вернётся к вам законно, и ни один кредитор не сможет до него дотянуться. А для этого нужен Прыткин.

— Где же его искать?

— Не знаю. Я наводил справки ещё в мае — хотел узнать, кто вёл бумаги по делу. Прыткин уволился из гражданской палаты в апреле. Сразу после решения. Съехал с квартиры. Говорят, разбогател. — Зарецкий криво усмехнулся. — Подьячие редко богатеют честным путём.

Лиза подошла к окну. За окном был сад, липы, пруд, — всё такое же, как час назад, и всё совсем другое. Как будто кто-то протёр пыльное стекло.

— Через три недели губернатор даёт бал, — сказала она медленно. — В Твери будет вся губерния. Чиновники, помещики, стряпчие. Если кто-нибудь знает, где Прыткин, — он будет там.

— Вы в трауре. Вы сами сказали.

— Траур не запрещает бывать в обществе. Только танцевать. — Она повернулась к нему. — Я поеду. С тёткой Сонцовой, она давно зовёт. А вы?

— Меня не приглашали.

— Вас пригласят. Вы владелец Белых Ключей. Губернатор приглашает всех владельцев.

Они смотрели друг на друга через комнату. Солнечный луч лежал между ними на полу, и в нём плясали пылинки.

— Это значит, — сказал Зарецкий медленно, — что мы с вами заключаем перемирие, Елизавета Павловна?

— Это значит, — сказала Лиза, — что у нас общий враг. Ничего больше. Ваш отец украл у моего. Вы — сын вашего отца. Я не забуду этого. Но если вы поможете мне вернуть Белые Ключи, я… я, может быть, когда-нибудь перестану вас ненавидеть.

— Когда-нибудь, — повторил он. — Это щедро.

— Не смейтесь.

— Я не смеюсь. — И он действительно не смеялся. Он смотрел на неё серьёзно, почти печально. — Хорошо. Перемирие. До тех пор, пока мы не найдём Прыткина. А потом — можете снова целиться в меня из лепажевского пистолета. Я не стану уворачиваться.

Лиза собрала со стола письмо, черновик и тетрадь.

— Это я оставлю у себя.

— Разумеется. — Он слегка поклонился. — Вы мне не доверяете.

— Я не доверяю никому, — сказала она. — Отец доверял. Вот что из этого вышло.

Она пошла к двери. На пороге остановилась.

— Глеб Андреевич.

— Да?

— Аркадию Сергеевичу ни слова. Пока мы не узнаем наверняка.

Его бровь — та, что со шрамом, — медленно поползла вверх.

— Значит, всё-таки думаете?

— Я ничего не думаю! — вспыхнула она. — Я просто… осторожна.

Она вышла, и дверь флигеля захлопнулась за ней. Но Лиза успела услышать, как он засмеялся — тихо, коротко, совсем не так, как смеялся до сих пор. Почти весело.

И, идя по аллее к дому, прижимая к груди отцовскую тетрадь, она вдруг поймала себя на том, что тоже улыбается.

Вечером приехал Свирский. Он был весел, оживлён, привёз ей ноты нового романса и коробку конфет от Педотти. Он рассказывал, что губернаторша выписала из Москвы оркестр и что бал будет такой, какого Тверь не видела со времён государыни Екатерины.

Лиза слушала его, улыбалась, разливала чай. И смотрела на его руки — белые, тонкие, холёные, с перстнем на мизинце. Ловкие руки. Руки, которые умели так красиво сдавать карты.

«Нет, — сказала она себе. — Нет. Это неправда».

— Вы сегодня задумчивы, Lise, — сказал Свирский, наклоняясь к ней. — Что-нибудь случилось?

— Ничего, — сказала Лиза. — Разбирала маменькины вещи. Грустно.

— Бедняжка. — Он погладил её руку. — Ничего, скоро всё кончится. Скоро вы уедете из этого дома, где столько печали, и начнёте новую жизнь. Я обещаю вам.

За окном, в темноте, проскакал всадник. Зарецкий возвращался во флигель. Свирский проводил его взглядом, и на мгновение — одно короткое мгновение — Лизе показалось, что в его нежных голубых глазах мелькнуло что-то холодное и острое, как отточенная сталь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.